



политика

Л. В. Поляков

## ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ АВТОРИТАРИЗМ И РОССИЙСКИЙ СЛУЧАЙ

**Ключевые слова:** демократия, авторитаризм, электоральный авторитаризм, критический случай, Россия

Изучение процессов социально-экономической и политической трансформации на постсоветском пространстве — самая молодая отрасль современного социального знания. Ей всего 20 лет, и она, естественно, находится в эмпирической фазе, когда идет наблюдение и сбор фактов, позволяющих строить более или менее валидные теории.

Вместе с тем очевидно, что даже в этой эмпирической фазе используются некоторые а priori — концептуальные схемы, дающие возможность определенным образом упорядочивать, классифицировать и типологизировать получаемый фактический материал. К числу таких концептуальных схем можно отнести, например, «волны демократизации» Сэмюэля Хантингтона, составляющие исходную аксиому «транзитологии», а также гипотезы «конца истории» (Фрэнсис Фукуяма) и «четвертого мира» (Жан Бодрийяр).

Характерно, что поиск некоей универсальной схемы, на основе которой можно было бы выстроить унифицированные объяснительные процедуры для всего постсоветского пространства, регулярно наталкивается на российский случай как слабо концептуализируемое исключение. Траектория эволюции России после распада СССР описывается то как переход от авторитаризма к демократии, то, наоборот, как переход от демократии к авторитаризму. А то и вовсе как очередной цикл «русской судьбы» — неудачной модернизации (Александр Янов), в котором вновь и вновь повторяются фазы «реформа — торможение — контрреформа»<sup>1</sup>.

Похоже, эту «особость» России склонны признавать даже те исследователи, которые не испытывают затруднений при вписывании страны в общие классификационные схемы. Так, Владимир Гельман, разделяющий взгляд на российский политический режим как подпадающий под категорию «электоральный авторитаризм», вместе с тем находит возможным рассматривать постсоветскую Россию «в качестве „критического случая“, проливающего свет на истоки силы и слабости электорального авторитаризма в сравнительной перспективе»<sup>2</sup>.

В связи с этим возникает несколько важных методологических вопросов. Во-первых, по какой причине именно *российский* случай электорального авторитаризма может быть взят в качестве «критического» для объяснения того, «почему электоральный авторитаризм где-то укореняется на десятилетия (примеров тому немало — от Мексики

<sup>1</sup> Отдельного внимания заслуживает аранжировка этой идеи Владимиром Пантиним, который связал либеральный и антилиберальный тренды в российской истории с повышательными и понижательными волнами так называемых «циклов Кондратьева» (см. Пантин [Panin] 2011: 22—32).

<sup>2</sup> Гельман [Gel'man] 2012: 67. В дальнейшем все ссылки на эту работу даются непосредственно в тексте с указанием страниц в круглых скобках.

до Египта), а где-то оказывается лишь временным и преходящим явлением (как в Сербии), либо же одни электоральные авторитарные режимы сменяются другими (как в некоторых постсоветских странах)» (с. 66–67)? Этот вопрос возникает прежде всего потому, что, говоря о России как о «критическом случае», Гельман ссылается на концепцию «case study» Гарри Экстайна, в которой «special case» выполняет функцию решающего «тестера» для данной теории. Как подчеркивал сам Экстайн, «критическим» может считаться лишь тот случай, «который максимально соответствует теории, в валидности которой нам нужно убедиться, и, наоборот, совершенно не подходит под любое правило, противоположное предложенному»<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Eckstein 1975: 118.

<sup>4</sup> Хотя при строгом следовании подходу Экстайна невозможность охарактеризовать российский «случай» как электоральный авторитаризм означала бы опровержение самой этой концепции.

<sup>5</sup> При этом стоит указать на прямственную связь соответствующего концепта с термином «демократура»,

Во-вторых, если Россия не подпадает под категорию «электоральный авторитаризм», то означает ли это, что сама теория теряет свою валидность?

И, в-третьих, если действительно российский случай не является разновидностью электорального авторитаризма, то можно ли его классифицировать в той же парадигме, но уже как электоральную демократию? Или для адекватного понимания социально-экономической и политической трансформации постсоветской России нужна теория, выходящая за рамки жесткой альтернативы «демократия/авторитаризм»?

Из трех этих вопросов здесь будут рассмотрены первый и последний, ибо оценка всей концепции электорального авторитаризма — значительно более общая задача, для решения которой требуется колоссальный сравнительный материал<sup>4</sup>. Преимущественная же цель данного текста — критически проанализировать гипотезу Гельмана, а следовательно, целесообразно сосредоточиться именно и только на российском случае.

:

которым в середине 1990-х годов пользовался Филипп Шмидтер для описания режимов, осуществляющих демократизацию без либерализации (проведение выборов при гарантированной победе правящей партии).

<sup>6</sup> Schedler 2002: 37.

Поскольку концепция электорального авторитаризма принята Гельманом как универсальная схема описания *всего* постсоветского процесса в России, есть смысл хотя бы вкратце воспроизвести историю ее возникновения и причины, по которым она была введена в научный оборот. Еще в начале прошлого десятилетия автор этой концепции Андреас Шедлер<sup>5</sup> обнаружил неразрешимую (как казалось) дихотомию двух подходов к проблеме соотношения демократии и авторитаризма в рамках «парадигмы транзита». Одни исследователи утверждали, что демократия имеет свои градации и тот или иной политический режим может быть демократичным «более или менее». Другие настаивали на том, что между демократией и авторитаризмом нет и не может быть никаких переходных стадий, поэтому авторитаризм всегда и везде есть однозначно недемократический режим<sup>6</sup>.

Этот спор сторонников количественного и качественного подходов к соотношению демократического и авторитарного политических режимов был бы тупиковым, если бы не возможность найти четкие и ясные разграничители в самой зоне, отделяющей авторитаризм от

демократии, которую Шедлер назвал «туманной». Его подход состоял в том, чтобы между полюсами континуума, обозначаемыми как либеральная демократия и закрытый авторитаризм, ввести две промежуточные, опосредующие стадии, а именно электоральную демократию и электоральный авторитаризм, которые отличаются друг от друга тем, что в первом случае выборы соответствуют формуле «free and fair», а во втором — нет. В свою очередь, электоральная демократия не дотягивает до демократии либеральной в том смысле, что в ней «не институционализированы такие жизненно важные измерения демократического конституционализма, как верховенство права, ответственная политическая подотчетность, неподкупность бюрократии и общественное обсуждение политических решений»<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> *Ibidem.*

Таким образом, Шедлер вводит в свою «туманную зону» довольно четкую, на первый взгляд, демаркационную линию, разделяющую демократию (электоральную) и авторитаризм (электоральный). Это «магическая формула» — free and fair election. Однако, на взгляд второй, подобная демаркационная линия сама по себе оказывается не менее проблематичной.

Дело в том, что никакой объективной, строго научной и однозначно применяемой методики определения того, являются ли данные выборы в данной стране подлинно «свободными и честными», нет<sup>8</sup>. К тому же такой вердикт всегда в той или иной степени политически мотивирован, поскольку отношение к любому режиму и действующей в нем оппозиции обязательно включено в контекст наличных геополитических противостояний.

<sup>8</sup> *О проблемах, связанных с эмпирической верификацией этой формулы, см., в частности, Diamond 2002.*

Кроме того, существует множество специфических местных норм, правил организации и проведения избирательных кампаний и самих выборов, которые при взаимном сравнении вызывают взаимные же подозрения в «несвободе и нечестности». Так, с последовательно демократической точки зрения тот факт, что президентские выборы в США в 2000 г. выиграл Джордж Буш-младший, представляет собой вопиющий пример «нечестности». Ведь Альберт Гор набрал больше голосов американских избирателей! И в целом судьба выборов решилась в Верховном суде штата Флорида, где спор о том, засчитывать или нет так называемые «беременные бюллетени» и нужно ли проводить ручной пересчет бюллетеней в нескольких избирательных округах, завершился в пользу Буша лишь потому, что в этом штате губернаторствовал его брат. А двое из трех судей были республиканцами.

Никому в голову не придет считать непрямые выборы президента в тех же США элементом авторитарного режима. Но как только в России был введен порядок de facto двухступенчатых выборов глав исполнительной власти субъектов Федерации, немедленно последовал «приговор» практических всех американских (и вообще западных) политологов и политиков: это авторитаризм.

В США агитационная кампания продолжается в день голосования вплоть до закрытия избирательных участков. С точки зрения

российского законодательства, это грубейшее посягательство на свободу выбора граждан. В России (как и в огромном большинстве государств) специально устанавливается «день тишины», а любая агитация в день выборов запрещена законом. Значит ли это, что выборы в США должны считаться несвободными?

На эту слабость, казалось бы, вполне определенной и достаточно аргументированной концепции Шедлера в свое время указал Ричард Снайдер, предложивший не концентрироваться на процедуре выборов как ключевом маркере дихотомии «демократия/авторитаризм». Его основная идея заключалась в том, чтобы, преодолев эту узкую фокусировку, связать политические последствия результатов выборов в странах с предположительно авторитарным режимом с тем набором факторов, которые он обозначил как «экстраэлекторальные».

Эти факторы Снайдер представил в виде четырех ключевых вопросов:

- «1) *Кто правит* (партийная элита, персональный лидер, военные или религиозная иерархия)?
- 2) *Как именно правители правят* (посредством патрон-клиентских сетей, этнических уз или массовой партии)?
- 3) *Что движет правителями* (алчность, этническая вражда, приверженность религии или идеологии)?
- 4) *Насколько правящие действительно правят* (действительно ли правитель является таковым, и если да, то до какой степени, то есть имеется ли в наличии „государственность“)?»<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Snyder 2006: 220.

Какое значение имеет отказ от фокусировки на выборах при решении вопроса о степени «свободы» в стране, показывает курьезный случай присвоения экспертами *Freedom House* статуса «частично свободной страны» Сьерра-Леоне в 2001 г. Международные наблюдатели оценили прошедшие в республике выборы как «свободные и честные» — при том, что гражданская война фактически уничтожила там всякую государственность<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Ibid.: 224.

**NB!** Подобные курьезы были бы невозможны, если бы составители рейтинга учитывали, что «отсутствие организации со свойствами современного государства (как в Сомали в 1992—1994 гг.) исключает возможность демократического управления всей территорией страны, хотя при этом могут существовать зоны сегментированной политической власти»<sup>11</sup>. К курьезам того же типа можно отнести «выборы» президента и Верховной рады Украины 25 мая и 16 октября 2014 г., проведенные после государственного переворота в обстановке гражданской войны и физического террора против оппозиции. Однако в силу геополитических причин эти выборы признало легитимными даже российское руководство<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> См. Линц, Степан [Linz, Stepan] 1997: 11.

<sup>12</sup> Плодотворную разработку этой проблематики см. Мельвиль, Стукал, Миронюк [Mel'vil', Stukal, Mironjuk] 2012.

Необходимо обратить внимание и на содержание поставленных Снайдером вопросов. В каждый из них (точнее, в первые три) включен

*закрытый* перечень акторов, методов и мотиваций, присущих авторитарному режиму как таковому. Это значит, что, называя данный режим в данной стране авторитарным, мы должны рассматривать электоральный процесс не в качестве определяющего, а в качестве дополняющего признака. Прежде чем квалифицировать электоральные процедуры как декоративный элемент режима, призванный замаскировать его авторитарное «нутро», нужно идентифицировать присущую авторитарному правлению цепочку «актор — метод — мотивация».

Иными словами, принципиально важно установить необратимую последовательность: сначала мы по определенным критериям фиксируем наличие авторитарного режима в данное время в данной стране, а затем включаем в его параметры то обстоятельство, что он использует избирательные процедуры. Не характер выборов придает режиму качество авторитарности, а, наоборот, его авторитарность придает институту выборов совершенно особый, никогда и нигде не встречающийся в демократиях характер.

На первый взгляд, это может показаться трюизмом или даже малозначимой терминологической схоластикой. Но в действительности проблема-то и состоит, с одной стороны, в микроаналитике ключевых понятий, а с другой, в их адекватности определенному политически содержательному контексту. И даже если, как отмечает Гельман, «с начала 2010-х годов никто из *серьезных специалистов* (курсив мой — Л.П.), говоря о положении дел в России, уже не использует термин „демократия“» (с. 65), вопрос о том, применим ли к России термин «авторитаризм» вообще и «электоральный авторитаризм» в частности, все равно нуждается в изучении.

**NB!** Вряд ли у кого-нибудь могут возникнуть сомнения в «серьезности» экспертов, участвовавших в подготовке *Democracy Index 2012* для *Economist Intelligence Unit*. Однако загадочным образом получилось, что Россия, именно в 2012 г. снизившая барьер регистрации политических партий с 45 тыс. до 500 членов и вернувшая прямые выборы губернаторов, переместилась в нем из разряда «гибридных» режимов в разряд «авторитарных», то есть оказалась в одной компании с КНДР.

<sup>13</sup> Вопрос о том, насколько корректно отождествлять Съезд народных депутатов РФ с «парламентом», автором не обсуждается как, по-видимому,

: , ?

не влияющий на оценку того типа режима, который утвердился в России после декабря 1993 г.

В реконструкции Гельмана история электорального авторитаризма в России выглядит так. Сначала, еще в позднесоветский период (в 1989—1991 гг.), у нас сформировался режим электоральной демократии, благодаря которому сам институт выборов закрепился как неустрашимый и единственно обеспечивающий легитимность любых претензий на власть. Собственно переход к электоральному авторитаризму исследователь привязывает к тому, что он называет «конфликтом между президентом и парламентом» (с. 73), который строился как игра с нулевой суммой<sup>13</sup>.

Соответственно, парламентские выборы 12 декабря 1993 г. и референдум по новой Конституции автоматически оказываются лишь ширмой, призванной скрыть авторитарную сущность нового режима. Следующий пункт российского авторитарного транзита — президентские выборы 1996 г., которые «все-таки состоялись, хотя об их справедливости не было и речи» (с. 74)<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Поскольку автор не поясняет, какой смысл он вкладывает в данном случае в понятие «справедливость», остается предположить, что он считает подлинным победителем тех выборов Геннадия Зюганова.

Поворотным моментом в этой истории, утверждает Гельман, является так называемая «война за ельцинское наследство» перед думскими выборами 1999 г., которая привела к победе Владимира Путина на президентских выборах в марте 2000 г. Опять же это игра с нулевой суммой, поскольку, хотя конфликт ОВР с «Единством» и «имел электоральное измерение», «на практике он был разрешен не на поле борьбы за голоса избирателей» (с. 75).

Триумфом электорального авторитаризма исследователь считает думские выборы 2007 г., на которых «Единая Россия» получила конституционное большинство в 315 мандатов. А «критическим моментом» или даже поражением электорального авторитаризма становятся выборы 2011 г.

Итожит эту историю такое авторское резюме: «Было ли это поражение электорального авторитаризма запрограммировано логикой эволюции режима, или же оно стало результатом действий ключевых политических акторов? Ответ... как минимум не очевиден» (с. 77). И эта неочевидность заставляет задать очевидный вопрос: если логика теории не объясняет конкретную политическую практику, то, быть может, что-то не так с исходной теорией? Возможно, «российский случай» как раз и не является для нее «критическим» в строгом смысле этого термина, и попытка редуцировать всю российскую специфику до практически не значимой в угоду теоретической схеме — это *volens nolens* лишь инструмент в борьбе за дискурсивное господство?<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Ср.: «Подобная часть политических знаний представляет собой внутригрупповые знания, которые для оппозиционных групп могут иметь статус „чисто политического мнения“» (Дейк [Dijk] 2013: 209).

**NB!** Стремление записать собственно содержательную часть политической эволюции России в разряд «случайностей» особенно наглядно выражено в таком тезисе автора: «Но даже если обстоятельства появления на свет российского электорального авторитаризма были во многом случайными, связанными с особенностями текущей политической конъюнктуры, то сама по себе логика становления этого режима оказалась закономерным следствием неудачи демократизации начала 1990-х годов» (с. 74).

Понятно, что последний вопрос — лишь полемическое преувеличение, призванное, однако, обратить внимание на наличие в предлагаемой Гельманом интерпретации российского политического режима ряда оставленных за скобками методологических затруднений. И первое из них заключается в том, что российский случай электорального авторитаризма, представляемый исследователем как максимально релевантный избранной теоретической схеме (в этом смысл его «критич-



ности»), по сути, выводит Россию за пределы парадигмы «демократического транзита».

В рамках этой парадигмы мы должны наблюдать эволюцию *изначально* авторитарного режима в направлении финальной точки — либеральной демократии — через промежуточные «станции» в виде электорального авторитаризма и электоральной демократии. Но у Гельмана получается, что Россия начала сразу с электоральной демократии, а затем, после событий 3—4 октября 1993 г., впала в электоральный авторитаризм. То есть вместо того, что подразумевает классическая теория *демократического* транзита, мы имеем в России не что иное, как *авторитарный* транзит.

В связи с этим стоит отметить одно немаловажное обстоятельство, заставляющее опять вернуться к вопросу о борьбе за дискурсивное господство. Российский политический процесс в версии Гельмана довольно серьезно расходится с тем, каким он видится нашей интеллектуальной элите («интеллигенции»?) либерального толка, для которой ельцинские «девяностые» — это максимум демократии, последовательно убывавшей с первого президентства Путина. Еще более любопытно, что тезис о, по сути, авторитарной природе ельцинского президентства вполне органично вошел во властный дискурс в середине «нулевых» — с акцентом как раз на «странные» президентские выборы 1996 г.

Разумеется, истинность научной теории не может быть «скомпрометирована» тем, что ее идеологический интерфейс в той или иной части совпадает с властным, провластным или оппозиционным дискурсом. Но и представлять себе дело так, что та или иная *политическая* теория есть *чистая* наука, никоим образом не включенная в окружающий (причем не только местный) политико-идеологический контекст, было бы наивным возвращением во времена, еще не знакомые с мангеймской социологией знания<sup>16</sup>.

Второе затруднение методологического порядка связано как раз с интерпретацией ельцинского президентства 1993—1999 гг. как электорального авторитаризма. Гельман приводит три институциональных и три операциональных условия поддержания режима данного типа. К институциональным условиям он относит «суперпрезиденциализм», «субнациональный авторитаризм» и «доминирующую партию» (с. 69), а к операциональным, по Адаму Пшеворскому, — «ложь», «страх», «экономическое процветание» (с. 71). Оба типа условий вроде бы идеально укладываются в схему, если речь идет о периоде 2000—2012 гг. (вероятно, за вычетом медведевского президентства), но их экстраполяция на 1990-е годы оказывается как минимум проблематичной.

Возьмем, казалось бы, наименее проблемный пункт — суперпрезиденциализм. Даже оставляя за скобками всю историю конституционного процесса, начиная с первого проекта новой российской Конституции, принятого на IV Съезде народных депутатов РФ в апреле 1992 г., в котором предусматривалась разновидность смешанной республики, нельзя не обратить внимание на несколько моментов.

<sup>16</sup> Спустя почти 100 лет по-прежнему релевантной остается постановка этой проблемы Карлом Мангеймом в третьей главе «Идеологии и утопии» с характерным названием «Может ли политика быть наукой?» (см. Мангейм [Mannheim] 1991: 95—102).

Во-первых, этот суперпрезидентализм был изобретением не лично Бориса Ельцина, а целой команды юристов-государствоведов, либерально-демократические убеждения которых никто никогда под сомнение не ставил. Во-вторых, новая Конституция была поддержана так называемым «всенародным голосованием» и одобрена большинством от принявших участие в выборах в собственно парламент 12 декабря 1993 г. И, наконец, в-третьих (по порядку, но не по значимости), окончательная редакция Конституции в части полномочий президента и его отношений с правительством и Государственной Думой возникла как прямая реакция на локальную (московскую) гражданскую войну 21 сентября — 4 октября 1993 г. Таким образом, можно утверждать, что суперпрезидентализм в России появился как продукт консенсуса либерально-реформаторской элиты и демократического электорально-большинства и профилактическая мера против рецидива гражданской войны.

По поводу субнационального авторитаризма в середине 1990-х годов можно сказать лишь одно: его возникновение (если он действительно возник) странным образом совпало с переходом от назначения губернаторов к их прямым выборам в субъектах Федерации, что, вообще-то, должно было бы свидетельствовать о наличии в регионах электоральной *демократии*.

О доминирующей партии в ельцинские времена оставалось только мечтать. Показательно в этом плане фиаско проекта создания на думских выборах 1995 г. управляемого право-левого центра в виде партий Виктора Черномырдина и Ивана Рыбкина.

Что касается операциональных условий поддержания ельцинского «электорального авторитаризма», то здесь дело обстоит еще хуже. Ни один из «факторов Пшеворского» в 1990-е годы в России не работал и работать не мог. Об *экономическом процветании* можно говорить только в отношении крайне узкой группы бенефициаров приватизации и залоговых аукционов. О *страхе* — только в том смысле, что население боялось террористов и криминала. Страха, связанного с деятельностью государственного репрессивного аппарата, не могло быть по определению — за его (аппарата) фактическим отсутствием. О *лжи* как целенаправленной пропаганде — при наличии двух конкурировавших телеканалов «Останкино» (Борис Березовский) и НТВ (Владимир Гусинский), а также постоянно претендовавшего на независимость государственного телеканала «Россия» — тем более говорить не приходится.

Так что же поддерживало в период с 1993 по 1999 г. тот политический режим, который Гельман квалифицирует как электоральный авторитаризм? Остается лишь суперпрезидентализм, который, подобно барону Мюнхгаузену, сам себя за волосы вытаскивал из российского «болота», то есть среды, в которой не было ни институциональных, ни операциональных предпосылок для его существования. Но коль скоро мы вынуждены признать, что российский режим авторитарен (если авторитарен!) не в силу того, что определенным образом использует



<sup>17</sup> Такая возможность рассматривалась мною в одной из более ранних статей (см. Поляков [Polyakov] 2013: 178 и дал.).

электоральные процедуры, а по причине конституционного дизайна, то не должны ли мы ввести в типологию авторитаризмов такую его разновидность, как «конституционный авторитаризм»?<sup>17</sup>

Поскольку в период 1993—1999 гг. убедительных подтверждений того, что в России сложился электоральный авторитаризм, найти не удастся, точку его зарождения, по-видимому, нужно искать начиная с 2000 г. Однако все шаги по построению так называемой «вертикали власти», которые обычно интерпретируются как признаки авторитаризма, осуществлялись Путиным исключительно в рамках конституционного пространства. При создании федеральных округов, Государственного совета, Общественной палаты, назначении полпредов, введении особого порядка наделения властными полномочиями глав исполнительной власти субъектов Федерации, изменении партийно-избирательной системы и т.д. не нарушался ни Основной закон, ни действовавшее законодательство.

Более того, цикл выборов 2003—2004 гг., как и предыдущий, прошел без каких-либо эксцессов (не считая авантюры Березовского с Рыбкиным в качестве соискателя президентства). Результат «Единой России» по партспискам на думских выборах (37%) строго соответствовал совокупной доле голосов, набранных в 1999 г. «Единством» и ОВР. Результат Путина в 71,31% не удивителен при тогдашнем уровне его популярности и отказе от участия в выборах Зюганова и Владимира Жириновского.

Думские выборы 2007 г. приносят 315 мандатов «Единой России», возглавляемой сверхпопулярным Путиным. А сразу вслед за этим парламентским триумфом он отказывается от предложения изменить Конституцию и пойти на третий президентский срок подряд. В итоге опять же в соответствии с законом и по строго демократической процедуре происходит то, что в обычных авторитарных режимах чревато кризисом и коллапсом, — трансфер высшей власти. Президентом избирается Дмитрий Медведев.

И именно завершение медведевского президентства по какой-то загадочной случайности/закономерности приводит «электоральный авторитаризм» к тому, что Гельман характеризует как «тенденцию к упадку» и даже как «поражение». Повторю уже цитировавшийся ранее вопрос с тем, чтобы придать новый поворот рассматриваемой теме: «Было ли это поражение электорального авторитаризма запрограммировано логикой эволюции режима, или же оно стало результатом действий ключевых политических акторов?» (с. 77).

2011—2012 .

Впервые цитируя этот вопрос, я, со своей стороны, задавался вопросом о том, какова объяснительная сила теории, неспособной атрибутировать «поражение» исследуемого феномена. Сейчас меня будет интересовать не менее фундаментальный вопрос: а можно ли считать «поражением» тот факт, что при пропорциональной системе выборов

в Госдуму «Единая Россия» получила простое большинство? Более того: в каком смысле можно говорить о «поражении», если Путин вернул себе президентство, победив уже в первом туре с результатом 63,6%?

Поиск ответа существенно облегчает сам автор данного утверждения, когда, во-первых, признает, что власти, «хотя и не без труда, по итогам президентских выборов марта 2012 г. смогли удержать свое господство», а во-вторых, называет весь этот электоральный цикл «относительным поражением» (с. 78). Но даже и в этом смягченном варианте тезисы о сохранении господства и об относительном поражении плохо сочетаются между собой.

По всей вероятности, поражение власти по итогам цикла 2011—2012 гг. Гельман видит в том, что с декабря 2011 по май 2012 г. прошли (главным образом в Москве) многотысячные митинги радикальной внепарламентской оппозиции, которых не было ни в 1999—2000, ни в 2003—2004, ни в 2007—2008 гг. Относительность же такого поражения, наверное, заключается в том, что власть не была свергнута, как это случилось в результате «stunning elections» в 2000 г. в Белграде, в 2003 г. — в Тбилиси, в 2004 г. — в Киеве («третий тур» президентских выборов), в 2005 г. — в Бишкеке.

Судя по всему, автор имеет в виду и этот момент, но все же главным аргументом в пользу тезиса о «поражении» для него служит тот факт, что правящая партия, «вопреки всем усилиям со стороны режима, не смогла набрать 50% голосов» (с. 77). Аргумент представляется действительно убедительным, если позабыть об одном важном обстоятельстве. (Если о нем не забывать, то результат «Единой России» в 49,31% может быть истолкован отнюдь не как поражение.)

Да, на фоне 315 думских мандатов, полученных «партией власти» в 2007 г., нынешние 238 смотрятся весьма скромно. Но ведь в 2007 г. «Единую Россию» возглавлял президент Путин, индекс одобрения деятельности которого, согласно замерам Левада-Центра, достигал накануне декабрьских выборов 84%! А в декабре 2011 г. на думские выборы «Единую Россию» вел президент Медведев, перед этим отказавшийся баллотироваться на второй срок. По данным того же Левада-Центра, индекс его одобрения на тот момент составлял 57% — цифра, о которой многие западные политики могут только мечтать, но недостаточно убедительная по российским меркам.

Такая заметная разница личных рейтингов лидера партии во многом и обусловила падение результата «Единой России» на 15%<sup>18</sup>. А это свидетельствует в пользу того, что термин «конституционный авторитаризм» действительно может рассматриваться как продуктивная альтернатива «электоральному авторитаризму» для российского случая. Ведь если рейтинг лидера, наделенного обширными конституционными полномочиями, имеет столь существенные электоральные последствия, то в том или ином результате выборов нужно проследить не расцвет и упадок гипотетического электорального авторитаризма, а флуктуацию настроений электората, который до определенного момента

<sup>18</sup> При комплексном анализе цикла 2011—2012 гг., конечно, должны быть учтены и другие факторы, повлиявшие на снижение результата ЕР. В их числе — массивная кампания под лозунгом «Голосуй за любую партию, кроме ЕР», проведенная несистемной оппозицией во главе с Алексеем Навальным, которая, вне сомнения, отразилась на окончательном распределении голосов, превратив аутсайдера «Справедливую Россию» в одного из главных бенефициаров с результатом в 13,52%.

ориентирован скорее по дуальной шкале «доверяю — не доверяю», нежели по шкале множественного выбора.

В связи с этим особого внимания заслуживает вывод, сделанный Валерием Федоровым по итогам Всероссийского репрезентативного панельного опроса, проведенного ВЦИОМ в сентябре 2011 — марте 2012 г.: «Электоральный цикл 2011—2012 гг., по всей видимости, войдет в историю как переломный, знаменующий начало разворота от плебисцитарной модели голосования в качестве доминирующей к рационально-активистской»<sup>19</sup>. Здесь тоже фиксируется кризис, но не режима, а только модели голосования, отнюдь не навязанной режимом, но возникшей благодаря как конституционным, так и ситуативно-политическим предпосылкам.

<sup>19</sup> Федоров [Fedorov] (ред.) 2013: 4. Критический анализ этого исследования см. Титков [Titkov] 2013.

Если строго фактографическая реконструкция новейшей политической истории России показывает, что в период 1993—2012 гг. мы можем говорить не столько об электоральном, сколько о конституционном авторитаризме, то, возможно, стоит сделать и следующий шаг. А именно предположить, что коль скоро режим действует в полном соответствии с Основным законом, который принят большинством российского народа, то такой конституционный авторитаризм есть не что иное, как электоральная демократия.

Однако в этом случае возникает сюжет, связанный с наличием доминирующей партии в виде «Единой России». А это, согласно концепции Кеннета Ф.Грина, классифицирующий признак специфического типа авторитаризма: «Авторитарные системы с доминантной партией являются важным подмножеством „состязательных авторитарных“ или „электоральных авторитарных“ режимов»<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> Грин [Greene] 2011: 23.

Сразу же нужно отметить, что, приняв концепцию Грина, мы вынуждены будем сместить точку зарождения электорального авторитаризма на десятилетие вперед, поскольку «Единая Россия» возникла лишь в 2001 г. и выступает в качестве «партии власти» только начиная с 2003 г. Обстоятельства ее успеха на этих выборах разобраны выше, и нет достаточных оснований квалифицировать его как достигнутый *исключительно* авторитарными методами. Выборы эти носили действительно конкурентный характер, даже если там и были *отдельные* фальсификации. Как отмечает по аналогичному поводу сам Грин, «ограниченные фальсификации, которые увеличивают долю полученных доминантной партией голосов, при том что она все равно бы победила, снижают значимость электоральной конкуренции, но не сводят ее полностью на нет»<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Там же: 22—23.

Пренебрежем, однако, этой аргументацией и предположим, что родословную российского электорального авторитаризма следует вести с 2003 г., поскольку именно с этого года мы наблюдаем наращивание государственного присутствия в экономике, которое в концепции Грина и является решающим маркером. «Политическая экономия однопар-

тийного доминирования, — подчеркивает он, — предполагает обширный государственный сектор и политически „немую“ государственную бюрократию»<sup>22</sup>.

Но даже при таком допущении в концепции Грина обнаруживается существенное ограничение на ее применение к российскому случаю. Дело в том, что режим авторитарного однопартийного доминирования может быть диагностирован в РФ лишь на протяжении 12 лет или трех электоральных циклов (2003—2007—2011 гг.). А «порог долговечности», или допуск для соответствующей квалификации, предполагает отрезок как минимум в 20 лет либо четыре избирательных цикла подряд. Иначе говоря, чтобы убедиться в применимости (или неприменимости) теории Грина для описания российской ситуации, нам нужно подождать до выборов 2016 г.

Тем временем все-таки можно сделать определенные выводы. Представляется, что проведенное исследование не подтверждает один из основных тезисов Гельмана, согласно которому российский случай электорального авторитаризма является *критическим* для этой концепции в целом. Выше мы видели, что по отношению к России периода 1990-х годов набор «факторов Пшеворского» не работает. А это значит, что российский случай ничего не добавляет к изучению феномена электорального авторитаризма в *сравнительной* перспективе. Напротив, напрашивается вывод скорее об уникальности российского «авторитаризма», который может быть охарактеризован как «конституционный» по своим истокам и последующей практике.

Насколько такая, по-видимому, чисто *эмпирическая* характеристика российского режима способна вписаться в *теоретическую* типологию режимов, традиционно располагаемых в континууме между полярными точками «либеральная демократия — закрытый авторитаризм»? Другими словами, что необходимо сделать, чтобы описательное понятие «конституционный авторитаризм» получило статус концепта наряду с «электоральным авторитаризмом» и «электоральной демократией»? И вообще, не является ли недопустимым оксюмороном объединение двух качеств — конституционности и авторитарности — в единый *логический* комплекс? Соответствует ли этому оксюмороны некий реальный *политический* объект?

За этими вопросами кроется одна фундаментальная проблема, суть которой в том, что в самой процедуре квалификации того или иного режима как демократического заложены определенные ограничения, оставляющие возможность оспаривания ее (квалификации) бесспорной валидности. Политика, в отличие, например, от экономики, — та область человеческой деятельности, в которой (вспомним Мангейма) задача *полного* устранения интересов и ценностей из процессов эмпирического наблюдения и теоретической концептуализации представляет своего рода движение к горизонту.

<sup>23</sup> Morlino, Carlі 2014: 26. Сами авторы доклада, правда, полагают, что предложенные ими методы различения «демократий» и «не-демократий» все же позволяют избежать ловушек восприятия и сопряженных с этим манипуляций (Ibidem).

<sup>24</sup> Так, например, Глеб Павловский, описывая то, что он называет «системой РФ», утверждает: «Ее устройство оригинально, глобально, хитро». Более того, «ее не понять из суммы ее подсистем, зато она объяснима, исходя из ее поведения. РФ не станет демократией, при самом жарком желании иной Команды» (Павловский [Pavlovsky] 2014: 10, 12).

<sup>25</sup> См. также любопытную дискуссию на тему «Русская матрица: мифы и реалии» в журнале «Власть» (Русская матрица [Russkaja matrica] 2014: 15–65).

<sup>26</sup> Федоров [Fedorov] (ред.) 2013: 473, 478.

<sup>27</sup> Пивоваров [Pivovarov] 2011: 70–74.

<sup>28</sup> Патрушев [Patrushev] 2011: 125.

<sup>29</sup> Пастухов [Pastukhov] 2011: 143, 157.

**NB!** Впрочем, как показывает практика составления экономических рейтингов, в экономике тоже все далеко не просто. Например, рейтинги таких, казалось бы, безупречных с точки зрения репутации и используемых методик агентств, как S&P, Fitch и Moody's, подверглись серьезной критике со стороны правительств Франции и США в период глобального финансового кризиса 2008–2009 гг. Аналогичным образом близкие к «мусорному» рейтинги России от этих же агентств были заподозрены в политической ангажированности российским правительством.

И здесь вполне уместно процитировать вывод, сделанный Леонардо Морлино и Луисом-Гвидо Карли в докладе, представленном на XV Международной апрельской научной конференции НИУ ВШЭ: «Существует несколько причин для споров и размышлений о том, как оценивать политический режим, чтобы проверить, может ли он рассматриваться как демократический. Первая и наиболее очевидная из них связана с легитимностью, которую режим, определяемый как демократический, может получить в глазах своих граждан»<sup>23</sup>. Возможно, это как раз тот самый российский случай, когда и конституционные предпосылки, и сама практика режима (особенно в условиях «посткрымского консенсуса») обеспечивают ему легитимность, и притом — повышенную.

Следует ли из этого, что российский случай не просто не является критическим для концепции электорального авторитаризма, но и вообще представляет особую сложность с точки зрения концептуализации в рамках дихотомии «демократия — авторитаризм»? Очень похоже, что к такому выводу в России приходят не только политические публицисты<sup>24</sup>, но и академические исследователи. Вот лишь несколько примеров того, каким образом пытались и пытаются концептуализировать российскую уникальность<sup>25</sup>: Россия как «выборное самодержавие» или «плебисцитарная демократия»<sup>26</sup>; Россия как «властесобственность» (русская транскрипция аристотелевского типа режима, примененного к России Ричардом Пайпсом)<sup>27</sup>; Россия как внеполитический «кликократический порядок»<sup>28</sup>; Россия как «классический пример failed state», режим которого — «клептократура»<sup>29</sup>. Не свидетельствуют ли эти и многие другие примеры (а их действительно можно множить, задавшись такой целью) о том, что принятый в современной западной политической компаративистике способ описания российского режима не улавливает его специфики? Или, может быть, это проблема российского политологического сообщества, все еще находящегося в процессе выработки унифицированного и терминологически однозначного языка?

## Библиография

- Гельман В.Я.** 2012. Расцвет и упадок электорального авторитаризма в России // *Полития*. № 4(67) [Gel'man V.Я. 2012. Rascvet i upadok ehlektoral'nogo avtoritarizma v Rossii // Politeia. № 4(67)].
- Грин К.Ф.** 2011. Политическая экономия авторитарного однопартийного доминирования // *Полития*. № 1(60) [Greene K.F. 2011. Politicheskaja ehkonomija avtoritarnogo odnopartiijnogo dominirovanija // Politeia. № 1(60)].
- Дейк Т. ван.** 2013. *Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации*. — М. [Dijk T. van. 2013. Diskurs i vlast': Reprezentacija dominirovanija v jazyke i kommunikacii. — М.].
- Линц Х., Степан А.** 1997. «Государственность», национализм и демократизация // *Полис*. № 5 [Linz J., Stepan A. 1997. «Gosudarstvennost'», nacionalizm i demokratizacija // Polis. № 5].
- Мангейм К.** 1991. *Диагноз нашего времени*. — М. [Mannheim K. 1991. Diagnost noshego vremeni. — М.].
- Мельвиль А.Ю., Стукал Д.К., Миронюк М.Г.** 2012. Траектории режимных трансформаций и типы государственной состоятельности // *Полис*. № 4 [Mel'vil' A.Ju., Stukal D.K., Mironjuk M.G. 2012. Traektorii rezhimnykh transformacij i tipy gosudarstvennoj sostojatel'nosti // Polis. № 4].
- Павловский Г.** 2014. *Система РФ в войне 2014 года. De Principatu Debili*. — М. [Pavlovsky G. 2014. Sistema RF v vojine 2014 goda. De Principatu Debili. — М.].
- Пантин В.И.** 2011. Циклы реформ-контрреформ в России и их связь с циклами мирового развития // *Полис*. № 6 [Pantin V.I. 2011. Cikly reform-kontrreform v Rossii i ikh svjaz' s ciklami mirovogo razvitija // Polis. № 6].
- Пастухов В.Б.** 2011. Предчувствие гражданской войны. От «номенклатуры» к «клептократуре»: взлет и падение «внутреннего государства» в современной России // *Полис*. № 6 [Pastukhov V.B. 2011. Predchuvstvie grazhdanskoj vojiny. Ot «nomenklatury» k «kleptokrature»: vzlet i padenie «vnutrennego gosudarstva» v sovremennoj Rossii // Polis. № 6].
- Патрушев С.В.** 2011. Кликократический порядок как институциональная ловушка российской модернизации // *Полис*. № 6 [Patrushev S.V. 2011. Klikokraticeskij porjadok kak institucional'naja lovushka rossijskoj modernizacii // Polis. № 6].
- Пивоваров Ю.С.** 2011. ...И в развалинах век // *Полис*. № 6 [Pivovarov Ju.S. 2011. ...I v razvalinah vek // Polis. № 6].
- Поляков Л.В.** 2013. Российская политика сквозь призму Конституции // *Полития*. № 2(69) [Polyakov L.V. 2013. Rossijskaja politika skvoz' prizmu Konstitucii // Politeia. № 2(69)].
- Русская матрица: мифы и реалии.** 2014 // *Власть*. № 2 [Russkaja matrica: mify i realii. 2014 // Vlast'. № 2].
- Титков А.** 2013. Истоки протеста: что ВЦИОМ измерил и не увидел // *Социология власти*. № 4 [Titkov A. 2013. Istoki protesta: chto VCIOM izmeril i ne uvidel // Sociologija vlasti. № 4].



**Федоров В.** (ред.) 2013. *От плебисцита к выборам: Как и почему россияне голосовали на выборах 2011—2012 гг.* — М. [Fedorov V. (red.) 2013. *Ot plebiscita k vyboram: Kak i pochemu rossijane golosovali na vyborakh 2011—2012 gg.* — M.].

**Diamond L.J.** 2002. Elections without Democracy: Thinking about Hybrid Regimes // *Journal of Democracy*. Vol. 13. № 2.

**Eckstein H.** 1975. Case Studies and Theory in Political Science // Greenstein F.I., Polsby N. (eds.) *Handbook of Political Science*. Vol. 7. — Reading (MA).

**Morlino L., Carli L.G.** 2014. *How to Assess a Democracy. What Alternatives?* — Moscow (<http://www.hse.ru/data/2014/03/25/1318948855/Morlino,%20Carli-text.pdf>).

**Schedler A.** 2002. Elections without Democracy: the Menu of Manipulations // *Journal of Democracy*. Vol. 13. № 2.

**Snyder R.** 2006. Beyond Electoral Authoritarianism: The Spectrum of Nondemocratic Regimes // Schedler A. (ed.) *Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition*. — Boulder.